

РОДНОЕ ГНЕЗДО

Рассказ

От моего городского порога до здешнего деревенского 168 километров. Они пролегают вначале сквозь мучительно медленные московские пробки, затем — по бывшему Владимирскому тракту, мимо веселых березовых рощ и сумрачных еловых лесов, новеньких автозаправок с толпящимися возле них «дальнобойными» автофургонами, мимо бревенчатых, в сказочно-русском стиле, кафе, изобретательно названных: «Сытый папа», «У Гурича», «Дон Кихот», «Левитан».

Наш путь в чаемую тишину дважды пересекает спрятанную в зарослях тальника, петлистую Клязьму. А на 150-м километре у городка Лакинска, известного изящной бело-голубой церковкой (построенной, между прочим, генералиссимусом Суворовым, имевшим здесь свое поместье), сворачивает с трассы направо, к покосившемуся указателю «Совхоз им. Лакина», торчащему неподалеку от обшарпанного козырька автобусной остановки.

Отсюда узкие асфальтовые петли ведут к поселку Заречное, к деревням Копнино, Цепелево, Осовец, Жохово, Погост, уютно угнездившихся на всхолмленных берегах все той же вездесущей Клязьмы. В одной из этих деревень — в Погосте (в ней всего одна улица, бревенчатые дома обшиты тесом, белоствольные тополя да ветлы шумят над их крышами) — десять лет назад я стал домовладельцем. С тех пор, курсируя из Москвы в деревню и обратно, живу как бы в двух разных мирах. И пишу дневниковые заметки о мало знаемой нами деревенской жизни. Часть из них уже была опубликована и отмечена Всероссийской литературной премией имени Дельвига. Вот их продолжение.

Молчание камней

В конце лета здесь вдруг вылезают из поникшей травы, сгоревшей на солнце до желтизны, сизые затылки громоздких валунов. Словно бы устали сидеть в засаде эти соглядатаи ледникового периода, и вот — явились. Прозвище у них — *бродячие камни*. 10 тысяч лет назад тающие «языки» ледников, распolzаясь, усеяли ими здешнюю холмистую равнину, обкатав их до тусклой гладкости.

Бывает, идешь за деревню, в овраг, к роднику, с пустым ведром, гулко отзывающимся на прикосновение сухих будыльев, а он, соглядатай, угрюмо смотрит на тебя

Игорь Николаевич Гамаюнов — прозаик, публицист. Родился в 1940 году в заводском селе Питерка Саратовской области. Окончил журфак МГУ, был специальным корреспондентом «Пионерской правды» и «Советской России», заведующим отделом журнала «Молодой коммунист». С 1980-го по 2014 год работал в «Литературной газете». Автор множества судебных очерков, романов «Капкан для властолюбца», «Майгун», «Жасминовый дым», «Щит героя», повестей «Однажды в России», «Мученики самообмана», «Свободная ладья», «День в августе», «Бог из глины», «Лунный челн», а также рассказов и очерков, публиковавшихся в «Новом русском слове» (Нью-Йорк), в «Литературной газете», в журналах «Знамя», «Нева», «Огонек», «Юность». Член Союза писателей Москвы и Союза журналистов России, лауреат литературной премии имени Антона Дельвига (2014). Живет в Москве.

из травянистых зарослей. Как бы подстерегает. Ощущение зябкое. Думаешь, проходя мимо: то ли он, угнетенный тысячелетним молчанием, хочет поговорить с тобой о пережитых испытаниях, то ли, рассердившись на все, что движется и звучит, решил на смерть околдовать тебя, превратив в свое неподвижное подобие. Чтоб, значит, не скучно было одному у тропинки торчать. То-то древние наши предки побаивались громоздких каменных молчунов, веря в их магическую силу, задабривали их всяческими подношениями. А задоблив, веселились — хороводы вокруг водили. Идолопоклонники, что с них взять.

Бродячих камней здесь, на левом берегу Клязьмы, немало. Кто-то, из особо азартных односельчан-погостинцев, выкопав пару-тройку валунов, метит ими границы своего картофельного поля, вышедшего за пределы отмеренных соток, (каменная эта охрана устрашающе грозно сияет на солнце покатыми боками). Кто-то, если хватает сил, ставит продолговатое каменное идолище, похожее на гигантскую среднеазиатскую дыню, у своего крыльца, обретая, видимо, некое чувство защищенности. А житель соседней с Погостом деревни Жохово, чей дом стоит на самом въезде, огородил уличный колодец десятком этих угрюмых свидетелей далекого прошлого. И хватило же терпения выкапывать, возить, ставить! Ну просто подвиг какой-то.

Впервые увидел я такой валун в 70-х, когда дочке Натальке шел третий год, и мы, приехав летом к дальней родне *погостить* (от этого слова и название нашей деревни — *Погост*), ходили на Клязьму. Шли по тропинке, которая огибала торчавший из травы каменный пенёк с плоским верхом, похожим на приплюснутую кепку. Моя юная спутница здесь непременно останавливалась, подходила к камню и, пошлепав ладошкой по нагретой солнцем отполированной поверхности, вскарабкивалась на него — отдохнуть. Сидела, смеясь от счастья. А уходя, лопотала камню на своем, не совсем еще понятном, языке какие-то слова, обещая вернуться. То есть прощалась с ним, как с живым. Но какой же он живой, мысленно возражал я своей спутнице, ведь не двигается же? Вот длинные ивовые ветки качаются у забора, их можно назвать живыми, они кивают тебе, светясь серебристой изнанкой листьев. А камень... Нет-нет, все-таки права была моя двухлетняя дочь, соглашался я с ней в конце концов, ведь камень же теплый... Значит, живой... Да еще сияет на солнце — это ведь он так улыбается! Хороший камень, с ним можно дружить.

Как-то прогуливаясь после дождя, подошли мы к нашему камню. Он оказался мокрым и хмурым, но для моей спутницы был все тем же живым существом, хотя и холодным на ошупь. К тому же — весь в каплях. «Он плакал-плакал, да?» — спросила дочь, удваивая слово, потому что плач, по ее пониманию, процесс длительный, и я немедленно подтвердил: дождь обидел. И пообещал: сейчас солнце пригреет, каменный наш приятель успокоится, станет теплым и веселым.

И мы пошли дальше, разглядывая траву, цветы, оживших букашек, всю ту разнообразную жизнь, что кипела у нас под ногами. Мы ощущали себя добрыми, умными великанами, способными защитить эту жизнь от всяческих напастей. Умеющими слышать не только птичьи голоса, шелест травы, но даже молчаливые жалобы неподвижного камня.

И почему это мы, сетовал я мысленно, торопимся, взрослея, расстаться с наивно-первобытной потребностью — одухотворять все вокруг?! Да, конечно, нужно быть скучными реалистами, чтобы выжить в нашем огромном мире, пугающем своей бесконечностью... Но, одухотворяя неживой мир, мы дарим ему, правда только в нашем воображении, новую форму существования. Ведь чем таинственнее молчание бродячих камней, оказавшихся за тысячу верст от родных скал, тем пленительнее грандиозная картина их путешествия. Представить ее — значит оказаться в том времени, когда ледяные глыбы высотой с многоэтажный дом, сверкая на солнце прозрачными из-

ломами, с треском и скрежетом сокрушали все на своем пути, а вот эти упрямые обломки, обкатав, перемолоть не смогли. Ну, как тут не восхититься стойкостью молчаливых путешественников, как не преисполниться уважением к каждому из них!..

Очень старая яблоня

Судьба распорядилась так, что много лет спустя (когда Наталька стала Наташей, к тому же — мамой дочки Саньки) мы купили в этой деревне большой дом с маленькой банькой, прилепившейся на краю неглубокого пруда. А еще здесь, у забора, оказалась старая, очень старая яблоня; она когда-то, видимо в раннем детстве, разделилась (почти у самого корня!) на три ствола и образовала обширную, чуть не в полдвора, мощную крону, осыпавшую нас каждую осень щедрой антоновкой.

И это не все. Тропинка из нашей задней калитки, пересекая совхозное поле, засеваемое то овсом, то сурепкой, ведет (три минуты ходьбы!) к дубовой роще, окаймляющей холм. Он знаменит тем, что на его темени сооружен вал правильной формы — здесь в начале прошлого тысячелетия стояла древнерусская крепость, и до сих пор дожди вымывают из его крутых склонов наконечники стрел. С этого холма (его здесь называют Городком) открывается вид на речную долину Клязьмы — на сверкающие озера ее стариц и вереницы кучевых облаков, плывущих к нам из Мещеры.

Ошеломительное чувство долгожданной укорененности не оставляло меня все первые годы жизни в деревенском доме. Вот длинный зеленый двор, не исполосованный грядками, похожий на лужайку, — это *мой* двор. В конце его — зеркальце *моего* пруда, окаймленного камышовыми зарослями и молодым осинником, — там в одно лето дикая утка вывела птенцов, прятаясь в камышах (*мой* пруд, а значит, и утка с выводком — *моя*). Сюда, к *моей* старой яблоне, прилетает пестрый дятел — простукивает с докторской тщательностью все три ее дуплистых ствола, удивляясь: старая, а живет. В сумерках к крыльцу *моей* баньки приходит еж (*мой* еж!) — в траве его ждет блюдо с молоком, приготовленное внучкой Санькой (*моей* внучкой). И в *моем* осиннике в майские ночи звучат обморочно-страстные соловьиные концерты. И грозный ковш Большой Медведицы мерцает — крупно и низко — над самым коньком *моей* крыши!

Я теперь смотрел на звездное небо с ощущением первооткрывателя: оказывается, вот этот дом, старая яблоня, пруд, тропинка к речке — не просто усадьба, летнее пристанище моего семейства, уставшего от городского многолюдья. Это *моя* — пусть микроскопическая, но *моя*! — точка на бескрайней карте Вселенной!..

Духоподъемное ощущение своей укорененности переживали и все мои домашние: жена Людмила, чье детство протекало на здешних берегах Клязьмы, дочь Наташа, когда-то любившая по дороге к речке сживать на валуне, и ее дочь Санька, рисующая в альбоме живописные уголки нашей усадьбы, и Санькин папа, исследующий с дочкой в руках здешние речные заводы.

Но чего-то все-таки не хватало нашему гнезду. И однажды Людмила, возвращаясь «из гостей» — от подруги своего детства Верочки, увидела на нашей единственной улице сценку: из распахнутых ворот соседского гаража, слепленного из проржавевших кусков жести, медленно выползает «жигуленок» — «копейка», а за его рулем сидит несовершеннолетний Сашок, юный фанатик старой техники, возрождающий ее к новой жизни. С этим «жигуленком» он возился целое лето и вот — поехал! На его торжество сбежалось поглазеть полдеревни — открывали дверцы, заглядывали под капот, спрашивали, как поедет без прав.

— А я вокруг деревни буду кататься! — сообщал всем счастливый Сашок.

И вот тут-то Людмила спросила его:

— Может, ты мне камень привезешь? Он там, за огородами, сизоватый такой... Привезешь?..

— Чего ж не привезти! — беспечно отозвался Сашок. — Вот только ребят надо позвать и веревку найти.

Камень, на треть вросший в землю, торчал в пожухшей траве, за огородами, у самой тропинки. И был ничей. Ватага мальчишек, орудуя лопатами и веревкой, расшатала его, а с места не сдвинула. Накинули петлю. «Жигуленок» напрягся, вытащил его наружу, но лопнула веревка. Мальчишки, охваченные азартом, раздобыли где-то деревянный помост на колесах, вкатили на него камень, закрепили, и «жигуленок» наконец выполнил свою миссию: привез исторический экспонат на нашу усадьбу. К пруду. Где его, смугло-сизого, и вкопали стоймя — у самих мостков. Разгоряченные, ребята не сразу остановились. Увидев в траве еще один камень — поменьше, серовато-серебристого цвета, — привезли и его.

Их обоих видно издалека, от самых ворот. Они неподвижны, но впечатление — будто живые. Будто замерли, недоуменно всматриваясь в нынешнюю странную жизнь. На смугло-сизом любит сидеть «обозреватель окрестностей» кот Пушок. На серовато-серебристом с альбомом в руках — внучка Санька.

Каменные постояльцы довольно быстро стали необходимой частью нашего бытия: их присутствие успокаивает. Они всем своим видом — то угрюмо-решительным, то снисходительно-сияющим (особенно когда падает на них солнечный луч, пробившийся сквозь листву осинника) — говорят: да, мы упрямы, но как иначе уцелеть в этом сумбурном мире?

В лунные ночи, когда от кустов и деревьев на траву падают четкие тени, а звездное небо становится просторнее и выше, мне кажется — я слышу голоса наших каменных пришельцев. То ли куда-то зовут они, то ли о чем-то предупреждают. О чем? Скорее всего, о том, что мир камней окончательно окаменеет, если в человеке однажды угаснет склонность к игре воображения, к одухотворению вещного мира. Ведь склонность эта, может быть, единственное свидетельство того, что предназначение человека — совершенствовать этот мир. Делать его справедливее и добрее.

«Не хватает у нас терпения»

...В 70-е годы мы приезжали в Погост к дальним родственникам. Селились на лето у дяди Вити Зайцева, рослого погостинца с обветренным широкоскулым лицом и внимательным взглядом светло-серых глаз. Был он молчун, говорил коротко, чуть-чуть окая. На деревенских сходах, когда решали, какого пастуха нанять, где лучше пасти деревенскую скотину, выступал в конце. Коротко. Возражать ему никто не отваживался. Да и не обратил бы он внимания на возражения. Я свое сказал, а вы как хотите, говорил он всем своим видом.

В его справной избе нас, москвичей с шумливым ребенком, селили в «передней», самой просторной комнате, выходившей тремя окнами, обрамленными резными наличниками, на единственную улицу. Здесь стояла кровать с никелированными шарами на спинке, высился комод с кружевной накидкой, отбивали время большие настенные часы в деревянном футляре. Но основная жизнь дома протекала на кухне. Там в красном углу, обрамленном расшитыми полотенцами, висела икона Божией Матери с лампадкой, теплившейся живым чутким огоньком, а под иконой бормотал весь световой день черно-белый телевизор марки «Рекорд». У плиты гремела тарелками улыбчивая Вера Лукинична, кормила поочередно вначале нас, троих москвичей, потом своих двух — внука Андрюшку и младшую дочку Гланьку.

Чаевничать же усаживались за тесный стол все, с Виктором Андреевичем. Он пил чай из блюдца, косясь в телевизор, чуть-чуть наклоня голову к правому плечу (ему на фронте осколком повредило шею), и как-то, когда на экране зазвучали выстрелы и крики «Ура!», аккуратно отставил блюдце, отодвинул чашку с недопитым чаем, поднялся и вышел. Я спросил Веру Лукиничну, не случилось ли чего, и она, окая, сказала:

— Да сам с ним поговори-то, может, тебе откроет чего. Такая с ним беда: как кино про войну, выметывается из дому-то. Душа не выносит.

Я вышел на крыльцо, прошел к сараю. У его стены на колышках сушилась мелко-ячеистая сеть, и дядя Витя, присев возле нее на табурет, чинил рваные места. Поговорили о рыбалке, о погоде, о передачах про войну (в тот год праздновали ее очередную годовщину), и он, насупившись, объяснил: не может смотреть эти фильмы. Не так все было. Сам воевал, вон осколок чуть голову от шеи не оторвал. А зачем врать-то? Не умели же воевать, просто гнали народ под танки. Правду бы показали, чтоб хоть чему-то научиться... Не мог я согласиться, возразил: но во второй-то половине войны мы уже что-то умели, выдавили врага, взяли Берлин... Да, взяли, кивнул дядя Витя, но был же открыт второй фронт. Если бы не он, неизвестно, что было бы... И перевел разговор на другое. На его грубоватом, обветренном лице появилось уже знакомое мне выражение каменной отрешенности — видимо, спорить на эту тему он считал делом совершенно бесполезным.

Время от времени из окрестных сел к нему приезжали на потрепанных мотоциклах деловые мужики, шли с ним в сарай, где у него стояло странное сооружение из металлических конструкций, совещались, глядя в его чертежи. Оказывается, он соорудил вечный двигатель, который довольно шумно работал, но все-таки в конце концов останавливался, и дядя Витя приглашал знающих людей на совет. А как-то зимой он приезжал с чертежами к нам в Москву, ходил по инстанциям, досадовал:

— Там осталось его еще чуть-чуть изменить, — говорил, — и движок заработал бы без остановок... Да вот не хватает у нас терпения!..

Такая жизнь

...На деревенской улице он появляется ближе к вечеру. На велосипеде. В потрепанном пиджаке, в приплюснутой кепке. Едет медленно, глядя по сторонам. Седой. Плотный. Зовут его здесь Сергеичем. Здороваясь, тормозит, сдвигает кепку на затылок. Улыбчиво шурится, кивая на двух плотников, стучащих молотками у моих ворот.

— Ремонтируешься? Приходи за медом, сегодня накачал.

Владимирского оканья в его произношении почти не слышно. Спрашиваю, почему мед. Один литр — 700 рублей, а на рынке 1200. «Там неизвестного качества, а у меня попробуешь — за уши не оттащишь», — смеется Сергеич. Интересуюсь, не надумал ли снова завести корову, ведь его молоко и творог были в деревне лучшими, народ в очередь становился. Нет, не надумал. Все это в прошлом, говорит, и улыбка на его лице гаснет.

Его недавнее прошлое протекало на моих глазах. Двенадцать лет назад, когда мое семейство обзавелось здесь домом, наша деревенька держала больше десятка коров. Это при том, что в семи километрах располагался животноводческий комплекс, и большинство жителей окрестных поселений, рассыпанных на левом всхолмленном берегу Клязьмы, работали там — «у молочной реки». А молоко все-таки предпочитали домашнее. Скинувшись, мои односельчане нанимали на лето пастуха, он утром и вечером вел по улице процессию наших рогатых кормилиц, грубовато покрикивал, длинный кнут, извиваясь, волочил по пыльной бровке, но ни кнут, ни нарочитая строгость были не нужны: каждая знала, где свернуть к своему дому.

Старели стойкие деревенские бабушки, уставали «смотреть» за буренками. Деревенское стадо сокращалось. Но упрямый Сергеич, выйдя на тщедушную сельскую пенсию (10 тысяч рублей в месяц — здесь у всех так, сказал), свою корову «сокращать» не хотел, несколько лет пас сам, приучил кормиться прямо на улице, на заросшей травой обочине. Ходил по дворам, косил на задворках — впрок. Приходил и к нам. Накашивал высоченную копну, уминал, захлестывал ее веревкой и забрасывал с громким криканьем на спину. Я распахивал перед ним ворота, потому что в калитку он с этим грузом не прошел бы, и Сергеич, пыхтя, пересекая двор, говорил:

— Видел рекламу про то, как *хорошо иметь домик в деревне*? Молоко из кувшина льется, внучка улыбается... Прямо плакать хочется, так хорошо... Ну, попался бы мне тот, кто эту картинку придумал... Я его, нет, не побил бы... Я его за вранье заставил бы косить с утра до вечера и копны на себе таскать... А когда он от усталости грохнулся бы на землю, я бы его спросил: *ну что, хорошо иметь домик в деревне?*

У него ухоженный двухэтажный дом с множеством хозяйственных пристроек. Пруд для уток. Просторный огород — под картошку. Пасека в саду. И моторная лодка на реке, примкнутая к металлическому колышку. Он самый авторитетный в деревне охотник и рыбак, не без лукавства правда. Спросишь, бывало, где это он таких щук и лещей наловил, посмеется, ответив: «Я тебе скажу, да там их уже нет, всех я выловил».

Работал он до пенсии шофером, микроавтобус водил, несколько лет егерем в местном охотхозяйстве оттрубил, но всю жизнь главным его делом был собственный дом. Свое хозяйство. Такое у него пристрастие. Ткнулся он было в фермеры, когда им наобещали льготные кредиты и множество других послаблений, но быстро понял — все это лживая обещаловка. На словах одно, на деле другое. Результат: не пошло фермерство на Владимирщине, половина окрестных земель пустует, трава в рост человека. Сергеич часто об этом заговаривает, но сегодня он меня спросил о другом.

— Слышал, какой подарок правительство готовит? Закон новый!.. О том, чтоб, значит, в частном хозяйстве ограничить число скотины... Так ведь уже ограничили! Под ноль! Ты там в Москве ближе, позвони Медведеву, скажи. Ведь и на коровьем нашем комплексе тоже коров стало раз в десять меньше.

Пытаюсь объяснить, что поводом к разработке нового закона стала, как сообщил Интернет, ситуация в Ставрополье. Там, в просторных степях, у частных владельцев, по слухам, появились неисчислимы табуны всякой живности. Кому они помешали и как, из скупых интернет-сообщений непонятно, но агитка для завистливых лентяев против удачливых собственников-скотоводов запущена. Чем она обернется? Травлей предприимчивых, работающих людей? Торжеством очередного абсурда, который неизбежно породит дефицит мяса на рынках? Возникшая по этому поводу полемика, видимо, встревожила правительство, Дмитрий Медведев даже попросил прекратить споры — до того, как эксперты прояснят ситуацию. Ну что ж, подождем. А пока кое-что вспомним.

В середине 80-х, с официозных публикаций об *опасности частнособственнических инстинктов*, началась так называемая *антипомидорная кампания*. Эта акция безумия, эта судорога вдруг возродившегося крепостного права длилась несколько лет! По указанию местных властей бульдозерами крушили теплицы, расположенные на приусадебных участках. Не жалели никого — пенсионеров, матерей-одиночек, инвалидов, кому продажа помидоров на рынке была подспорьем в их нищенском бытии. И никто за этот вандализм не сел на скамью подсудимых. Никто! Особенно отличилась Волгоградская область, где непокорным отключали электричество и перекрывали воду, о чем мне пришлось рассказать в трех очерковых публикациях в «Литгазете» и одной в «Огоньке» (1987—1990). Тогда после этих публикаций, перепечатанных в местной прессе, в январе 90-го, ситуация разрешилась народным неповиновением —

двухдневным митингом на главной площади Волгограда, показанным по первой программе ТВ, после чего инициатор антипомидорного бандитизма, первый секретарь обкома Калашников (метивший в министры мелиорации) наконец-то был снят. И отправлен — нет, не за решетку, а всего лишь на пенсию.

Может ли произойти нечто подобное сейчас? А почему бы нет? Среди мастеров телевизионных дел, как мы убедились в последнее время, немало ловких шулеров, умеющих так передергивать факты, что иной раз, глядя на экран, думаешь: а не попал ли в сумасшедший дом? Превратить ставропольских скотоводов во врагов народа эти ловкачи смогут вмиг, стоит им дать команду «фас!» Особенно если эта команда будет освящена постановлением правительства.

Спрашиваю Сергеича (а он в деревне аккумулятор новостей), что нового на местном животноводческом комплексе. Должно же ведь что-то измениться после прихода нового министра сельского хозяйства.

— Нового ничего, все старое: зарплату задерживают, как и раньше. Спроси наших доярок, расскажут, как вкалывают и какие гроши получают, да и те с опозданием. О льготных кредитах и рот раскрывать нечего — банки, говорят, вот-вот набок повалятся. Из-за кризиса. Да ты мне лучше вот что скажи: почему у нас все так наперекосяк? Деловых людей, что ли, нету? Или их кто за руки держит?

Это любимая тема Сергеича, поэтому на все его вопросы он отвечает сам.

— А наперекосяк, потому что становится деловой человек начальником и тут же начинает смотреть в рот тому, кто над ним. Тот глупость сморозит, этот поддакивает. Чтоб, значит, не уволил. Отсюда вся беда. Пример? Видел, сколько у дорог мусорных куч? Вся область в мусорных кучах! Туристы в Суздаль едут — видят это позорище. У каждой деревни — вонючие горы. А не убирают, потому что не могут решить, кто за это отвечает...

Он перечислил еще с десяток проблем, о которых все годы, что живу здесь, я слышу в дословном повторении, о чем сам не раз писал: о том, например, что газовую ветку протянули только до поселка Заречный, где начальство живет, а села и деревни во круг остались без газа. Как и без воды, хотя была утверждена в области программа по обеспечению водой всех поселений.

Сергеич досадливо мотает головой, вздыхает и, надвинув кепку, садится на велосипед.

— Так ты приходи за медом-то, — говорит, трогаясь, — хороший мед, не наперекосяк сделанный. Пчелы у меня работающие.

И медленно едет дальше, глядя по сторонам.

Меч Коловрата

Всякий раз, спускаясь по склону холма к Клязьме, по вьющейся меж дубов тропинке, вспоминаю здешнюю историю... Здесь, на темени холма, 700 лет назад подняли крепость, назвав ее по имени близлежащего селения — Осовец. И еще одну — возле деревни Братонез. Обе вошли в состав оборонительной линии на западной границе Владимира. От этих крепостей к другим, рассыпанным вдоль речной поймы, в случае тревоги посылали световой сигнал, зажигая горевшие всю ночь факелы. В этих городках-крепостях обитатели окрестных деревень укрывались от набегов кочевых ордынцев.

Именно здесь, у Осовца, утверждают исследователи (в частности — местный краевед Родионов, чья книга в одно лето ходила по рукам моих односельчан), в декабре 1237 года рязанский воевода Евпатий Коловрат с отрядом в 1700 ратников, движи-

мый чувством справедливого возмездия, встретил уходящие после разорительного набега на Рязань монголо-татарские полчища. Они двигались по льду Клязьмы к Владимиру, но здесь, под холмом, на «Убиенном лугу», так это место осталось в народной памяти, наткнулись на засеки (сваленные поперек деревья) и мечи воинов Коловрата. «...И бил их Евпатий так нещадно, — говорится в „Повести о разорении Рязани Батыем...“, — что и мечи притуплялись».

Русло реки и узкий заснеженный луг вдоль нее, где произошла сеча, не позволили ордынцам, намного превосходящим по численности, окружить Коловрата. Его же ратники сражались с невиданным мужеством. Раненых, захваченных в плен, приводили к Батыю (место, где стоял его шатер, до сих пор называют «Ханским лугом»), и тот их спрашивал: «Что вы хотите?» И те отвечали одно и то же: «Умереть».

Против Коловрата был брошен отборный полк, но и его сразили русские мечи. Только спешно подвезенными камнеметными орудиями остановил Батый уничтожение своего войска. И, пораженный отвагой русских, распорядился отдать тело погибшего в бою Коловрата его уцелевшим воинам, «отпустив их, не чинить им вреда» в погребении своего военачальника. Где Коловрат похоронен — увезен ли по декабрьскому снегу в саях в разоренную Рязань или упокоен здесь, на соседнем холме, (там расположено старинное кладбище), доподлинно неизвестно.

Эта страничка истории была, конечно, знакома мне со школьных лет, но, поселившись в доме, из окна которого виден окаймленный дубовой рощей исторический холм, я *только спустя два года* узнал, в каком месте провожу летние месяцы. Прочитал об этом в книжке местного краеведа Сергея Ивановича Родионова («Край мой, любовь моя...»).

Дело в том, что ни на въезде в деревню Погост, ни на самом холме, ни на обширном местном кладбище возле недействующей, полуразрушенной временем церкви, где, по предположению некоторых исследователей, наверняка и похоронен Коловрат, нет никакого памятного знака о произошедшем здесь летописном событии. Несмотря на то, что крепость Осовец значится во всех краеведческих документах как исторический памятник, а энтузиасты-копатели (вижу их, когда иду на реку с удочками) карабкаются с металлоискателями, рискуя сорваться вниз, по крутым склонам холма, потому что ливневые дожди до сих пор вымывают из земли бесценные реликвии — проржавевшие мечи и наконечники стрел.

Книжка Родионова была недолгой сенсацией, быстро потускневшей в насущных заботах деревенской жизни. И наезжающие на лето дачники в большинстве своем остаются в полном неведении о том, в какое историческое место привела их судьба. Мрачновато шутят по поводу названия деревни — *Погост*, мол-де, «лето проводят на кладбище». Не зная, что в недавнюю старину (XIX век), как объясняет Родионов, на том самом историческом холме каждую десятую пятницу проходили ярмарки, на них съезжался народ со всей округи, ночевали же приезжие в нашей деревне, потому-то и прозванной Погостом, *от слова «погостить»*. Здесь был один из сборных торговых пунктов Копнинского сельского округа, место продажи и обмена, куда со своим товаром съезжались звероловы, бортники и землепашцы — для «*гостьбы*», как говорили в старину.

На нашем историческом холме, на его валу, сейчас в погожие дни жгут костры любители шашлыков, приезжающие сюда из окрестных городов на рычащих джипах, врубают на полную мощь динамики, оглашая живописные окрестности пошловатой продукцией радиостанции «Шансон». Им невдомек, где они, что здесь произошло много веков назад и как то, что случилось в декабре 1237 года, соотносится с их нынешней, очень недолгой, по историческим меркам, жизнью.

...Жизнью, проходящей в исторической слепоте.